

Дрожь

Позже, если бы кто-то попросил Жанну рассказать о своей жизни, то последним словом в её рассказе стал бы именно этот день, последний, оставивший по себе память. Она всегда думала, что это было *вчера*, и прожила долгие годы в изматывающем самообмане. Такими же долгими, тяжкими иногда бывают воспоминания кожи о сильном ожоге или ударе.

* * *

Раскинув руки в воздухе, Жанна чувствовала, что вся дрожит. Мелькнула мысль, что нужно было измерить температуру, прежде чем приходить сюда. Весь мир пылал и плыл, покачивался перед утомленными светом глазами, как если бы она сидела в лодке, привязанной к причалу, и глядела вокруг сквозь вязкую пелену дремоты.

Жанна ходила по парапету, глядя вдаль и в никуда, интуитивно перешагивая пустые полости в полуразрушенной кирпичной стене. Глаза тосковали по утраченному горизонту (проблемы со зрением у Жанны начались ещё в детстве). У подножия этого замка из слоновой кости (недостроенного корпуса общежития из белого кирпича), где она провела бы всю жизнь, будь на то её воля, - у подножия замка жили земляные пчелы, накрывая землю подвижным и зудящим, шумным покрывалом. Несмотря на кульминацию лета, на тёмном чердаке здесь висели сосульки, сквозь которые тонкой вуалью лучей струился свет.

Она ходила по полуразрушенному парапету, ни разу не оступившись, ни разу не взглянув себе под ноги. Кружилась голова, — но не настолько, чтобы можно было потерять равновесие. Внизу какой-то парень упражнялся в стрельбе из ружья. Она видела, как он стрелял в пустое поле, где даже засохшее дерево не изображало цель. В какой-то момент на поле выбежал ребёнок. «Смотрите, смотрите, тут настоящее ружьё!»

Внезапно человек резко развернулся, запрокинул ружье вверх и выстрелил прямо в неё. Он промахнулся, а она не двинулась с места. У Жанны было плохое зрение и хорошая интуиция. Тогда он поднялся наверх.

* * *

— Ну, здравствуй, — произнес он, и его губы содрогнулись от еле заметной улыбки, как бывает, когда солнце, случайно минуя ажурные ветви деревьев, проливает свет на тёмную гладь пруда, покрытого тиной, зелень которого то и дело разрезает чёрная траектория движения плывущей утки.

Жанна на миг замерла. Не говорила. Перед ней стоял человек, которого, как ей порой казалось, вообще не существовало. Воскресший из мёртвых греческий профиль, редкие волосы с проседью не по возрасту (он всегда объяснял свою седину генетически — отец, мол, уже в двадцать лет был совершенно стар), зелёные глаза и чёрные дыры зрачков, глядящих на неё в упор. Спокойно, равнодушно, без тени эмоций. Казалось бы.

— Как ты нашёл меня? — наконец, произнесла она и хотела было прыгнуть с парапета на крышу, но, передумав, вновь замерла спиной к пропасти в несколько десятков метров.

— Я тебя не искал, — ответил он, улыбнувшись уже широко и почти добродушно, — просто люблю приезжать сюда пострелять, а сегодня вдруг посмотрел вверх и увидел тебя. — Ты часто здесь бываешь?

— Не очень. Приезжаю, когда хочу побыть одна. Я очень боюсь пчел. — Она уже доверяла ему в эту минуту, хотя они не виделись больше пяти лет.

Он вдруг перестал улыбаться и направил на неё дуло ружья.

— Ну как, нравится? Тебе нравится?

* * *

Она молчала. Ей было трудно представить, что он хочет её застрелить. Он был для неё братом и другом — когда-то, в прошлом, в агонии дней, которые всё никак не получалось изъять из памяти, а потом, потом... Она засмеялась. Он растерялся перед её смехом — как терялся всегда. Она смеялась и тогда, пять лет назад, когда он сбросил с балкона их кошку, беременную четырьмя котятками. Позже он нашел её труп и, вскрыв живот, оглядел её погибшее потомство с равнодушием анатома и сказал, что никогда не видел более жалкого зрелища. Она смеялась над ним и гладила по голове, как потерянного ребёнка, сироту, которого вырастили улицы и случайные прохожие, она гладила его по голове и целовала в лоб. Смеясь и удивляясь своей любви к этому беспризорному созданию. Так Дева Мария могла бы целовать Иисуса.

Тогда в нём впервые родилась ненависть к ней — к её высокомерной, презрительной любви, которая, однако же, всегда так безукоризненно спасала, заставляла жить, вернее, оживать — каждое утро, просыпаясь, словно воскресая. Впрочем, он слишком много возлагал на неё вины и надежд.

Жанна никогда не желала ему смерти. Она хотела лишь, чтобы он стал другим. «Хочу, чтобы ты был, как все люди» — в минуты отчаяния произносила она и с обидой думала о том, что он ел сегодня на обед борщ со свининой, который она приготовила по новому рецепту, и даже не сказал, что он вкусен (а он был вкусен). О том, что не ответил согласием на её предложение прогуляться по парку, где в это время в самом разгаре были танцы. Он ненавидел толпу. В тот вечер он улегся на диван, открыв «Упанишады» (которые она раздобыла для него в бабушкиной библиотеке) и с той минуты забыв о её существовании, отбыл в мир иной — как будто умер, как будто никогда и не жил, не желал её, Жанну, каждой веной своего красивого тела, каждым выдохом горячих губ....

* * *

— Что ты здесь делаешь? Что — ты — здесь — делаешь? — На лице Жанны отразилась какая-то невозмутимая паника. Она старалась скрыть дрожь в голосе, внезапное воспоминание о том, что было, о том, чего больше нет — ведь нет же никакого прошлого, и тают, и тлеют невесомые секунды, перерождаясь в прах...

Ей вдруг показался желанным этот солнечный летний мир, впитавший в себя запахи полевых трав, расцвеченный крыльями бабочек, которые, незримые с высоты, порхают над сердцевиной мира — распахнутым к жизни цветком. Где-то внизу.

— Я не хотел подниматься, но вдруг вспомнил. — Он хотел рассказать о том, что воспоминания обожгли его безмятежность, совсем как пули из этого ружья обжигают воздух, но по старой привычке решил, что она не поймет, не захочет понять, и сказал просто, беспомощно, почти по-женски. — Почему-то пришёл.

Дуло ружья было по-прежнему направлено на Жанну, но она не чувствовала страха. Собственно, ничего не происходило. Весь мир был во власти ясного дня, одного из тех, что расслабляют тело и усыпляют мысли безветрием и мягким теплом. Жанна услышала, как кричат чайки, увидела, как они кружат над зданием, как их белые перья нежатся в воздухе. Жанна вспомнила море. Они ездили туда вместе. С этим поседевшим человеком, который был в то время пылающим жерлом её жизни, спящим вулканом, каждодневной тревогой, абсурдом и смыслом. Она любила его, пока хватало сил. Когда она оставляла его, ей казалось, что у неё рвутся сухожилия.

* * *

В это время, стоя на крыше под лучами нагого солнца в зените, он чувствовал, как сильны его руки, — по-прежнему сильны — хотя какой слабости он им желал несколько лет назад! Он приезжал сюда расстреливать воздух, держа перед глазами обманчиво сладкие, драгоценные образы детства, когда жизнь ещё казалась праздником. Он стрелял в себя, рвущего бархатцы на клумбах, в коротких голубых шортиках с пятном на боку, стрелял в своих худых загорелых друзей, играющих в войну, он стрелял в свою строгую мать, так громко кричащую из окна, зовущую домой. Стрелял в свою мёртвую собаку,

которая погибла под машиной, из-за того, что он не уследил за ней, играя в футбол. Он стрелял в свою жизнь, чтобы не выстрелить себе в грудь.

Почти каждый день он расточительно тратил на это занятие несколько часов. Абстракция поглощала настоящее убийство, абстракция позволяла ему ещё немного жизни, и он был благодарен неизвестно кому — впрочем, самому себе — за эту прекрасную выдумку.

В тот день, когда Жанна своими слепыми глазами разглядела его с высоты заброшенного здания, он всё так же стрелял по воздуху, весь обратившись в ненависть к миру, в стремление к фикции самоуничтожения. Обычно ему ничто не мешало предаваться своей иллюзии, но в этот раз на пустырь внезапно выбежал ребёнок. Дети любят играть в таких местах, но именно здесь он никогда их не встречал. За пару секунд до его последнего выстрела на поляну выбежал ребёнок.

Мальчик просто играл, как он сам когда-то, в войну, он убегал от своих врагов с игрушечными пистолетами, он знал, что его ждёт какое-то будущее и не подозревал о смерти, хотя, пробежав несколько шагов чуть быстрее, он бы свалился на землю безжизненной плотью и никогда, никогда не стал бы мужчиной. Он бы не лишился девственности, трахнув какую-нибудь шлюху, он бы не бросил университет ради книг и алкоголя, он бы не сделал потом карьеру журналиста, подрабатывающего сразу в нескольких газетах, он бы не...

Он вздрогнул и опустил ружье. По виску ползла, обжигая кожу, капля пота. Он взглянул наверх. Там стояла Жанна, он узнал её прежде, чем разглядел. Она не знала, почему он опустил ружье, не знала, кто он такой, но она стояла над миром, как воплощение потерянной им жизни, как судья, который готовится вынести обвинительный приговор. Так ему показалось. Он почувствовал жжение в груди — от боли, от злости — не замечая, что это он сам только что наделил её моральной силой и правами судьи. Он выстрелил в неё, будучи по-прежнему не в себе. Он промахнулся и шёл наверх, чтобы исправить свой промах.

Но пока он поднимался по разбитой бетонной лестнице, вдруг вспомнил улыбку Жанны, когда она, выслушав его признание, спокойно отправилась варить суп. Он говорил ей о ничтожестве существования, о необходимости смерти как проявления своеволия, он говорил ей о страдании, которым болен каждый, о страдании, которое он ежесекундно испытывает, он говорил о том, что, глядя на проезжающий мимо поезд, он представляет, как лежит под его колесами, а они дробят его кости. Она молча выслушала его со спокойным лицом и легкой улыбкой, а потом ушла на кухню. Мол, суп убегает.

Но суп же действительно убегал. В ту минуту Жанна думала о том, как важно накормить этого несчастного, потерянного и почему-то доставшегося ей человека, заставить его почувствовать хоть что-то. Хотя бы вкус этого борща с индейкой, приготовить который стоило ей нескольких долгих часов (а ведь она собиралась на праздник). Она волновалась за него и потому торопилась приготовить этот суп, ему вовсе не нужный, она даже порезала палец, но не стала искать бинты, а начала крошить укроп, временами бросая быстрый взгляд в окно, на пасмурные сумерки безымянного вечера. Какое тогда было число? Живя с ним, она не помнила чисел и дат.

Она не могла помочь ему как-нибудь иначе — она просто готовила суп — она была женщиной, которая хотела жизни, в то время как он мечтал умереть и не мог, не мог. Она не могла представить себе, что такое возможно. Рядом с ней он мечтал умереть.

О, как долго он об этом мечтал. В тот вечер он хотел было вскрыть себе вены кухонным ножом, но тут Жанна вошла в комнату с тарелкой борща, и он засмеялся, а она сказала: «Чего смешного? Я три часа готовила. Ты знаешь, как я ненавижу борщ. Ешь!» Ему на пару минут стало как-то спокойно, хорошо, как в холодной зимней комнате становится хорошо под пуховым одеялом. «Ты мой Иисус», — произнес он и стал с жадностью есть. Она улыбалась. Спустя минуту, он пожалел о своих словах, но не сказал об этом Жанне. Он был сыт.

— Ну, что? Как ты живешь? — спросил он, опустив ружье. Руки всё же устали — вспоминать её голое тело, покорное ладоням, её тело в тёмной комнате, её тело... Он помнил её грудь подушечками пальцев, он помнил её тёплую спину кожей живота, губами помнил её шею.

— Как раньше, — коротко ответила Жанна. Она присела на парапет, свесив ноги, повернувшись спиной к нему, словно не было ни ружья, ни перспективы выстрела — ни его самого. Она смотрела на деревья. В эту минуту они были полны краткой и уязвимой красоты, которую так тщетно ловят художники... Конечно, она знала, что он может её убить. Она услышала, как пронзительно шелестят листья, услышала радостный крик полного жизни дня, почувствовала мягкость пушистых шмелей, упругость травы, сухость жемчужного песка, она услышала, как птицы режут воздух крыльями. Она так хотела остаться здесь навсегда.

Она обернулась. В эту минуту она больше всего хотела остаться здесь навсегда. Но чтобы спасти его, нужно было кое-что другое. Все те пять лет, что они не виделись, сложились в пустое множество дней. Этих пяти лет как будто и не было между ними. Жанна ничего не могла вспомнить.

— Ты же не станешь в меня стрелять, — тихо сказала она.

— А ты бы на моём месте выстрелила. Не правда ли? — со злостью в голосе произнес он.

— Глупости. Ты же знаешь — я бы просто протянула тебе заряженное ружье. — Она до сих пор знала, как ему помочь. На этот раз просто уйти было бы недостаточно. Нужно было прыгнуть вниз.

* * *

В тот последний вечер, пять лет назад, она приготовила ему борщ и смотрела, как он ест, сидя на подоконнике, выдыхая сигаретный дым в открытое окно. Он смотрел на её загорелые ноги, полные и гладкие. Чуть позже она постелила на диван чистые простыни (они пахли эвкалиптом) и начала раздеваться, не выключая света. Ей хотелось поскорее очутиться возле него и уснуть, чувствуя затылком его дыхание. Она очень устала. В комнате было жарко. Полностью раздевшись, она села в кресло и стала расчесывать волосы.

Он до сих пор был одет. Сидя за столом, опустив голову, он краем глаза наблюдал за её движениями, но всё же видел перед собой мелкие серебристые трещинки на лакированной поверхности стола.

— Я сегодня умру, — произнес он, с трудом выговаривая слова. Он принуждал себя говорить. Он хотел, чтобы она знала. Жанна чувствовала, как зубчики гребня впиваются в голову, словно колючая проволока, словно... Она долго молчала. Улыбнулась.

— Хорошо. Тогда я пойду, — и, бросив на пол расческу, слишком резко, чтобы скрыть волнение, Жанна начала одеваться. Он ничего не понимал. Он предчувствовал (или предвкушал?) долгий разговор, быть может, самый важный в его жизни. Эмоции плавили его, заставляли тело дрожать.

— Куда? Ты шутишь? — выдохнул он.

Она опять рассмеялась. Только смехом она умела защищаться. Глянцевой броней неприступного веселья, за которой, казалось ему иногда, зияла пустая полость, лишённая характера.

— Если ты сегодня умрешь, мне нечего здесь делать. Ты, наверное, хочешь побыть один? — Она взглянула на себя в зеркало на дверце шкафа, приподняла левую бровь, слегка повернула голову... Спустя пару секунд она уже надевала босоножки, наклонившись, чтобы застегнуть ремешок, старательно не глядя ему в глаза. Она знала, что должна это сделать, знала и то, что всё закончится именно так. Она не могла уберечь его от мечты своим горячим борщом, она могла уберечь его от смерти только своим отсутствием. Она молча хлопнула дверью, оставив почти все свои вещи в его квартире. Несколько дней он ждал её возвращения, чтобы продолжить разговор. На диване по-прежнему лежало её оранжевое платье, так и не одетое на прогулку. Он искал её в

заброшенном парке, на набережной, под мостом. Он ждал её, но она так и не пришла. Ни сегодня, ни завтра и никогда.

* * *

— Почему ты не вернулась? — спросил он, вместо того, чтобы спросить, почему она ушла.

— Чтобы жить, тебе нужна была боль. Одиночество. Дрожать, как в лихорадке — вот что тебе было необходимо, чтобы не выстрелить себе в грудь. Когда я пришла в твою жизнь, в ней стало уютно. Пахло борщом. Что ты смотришь? Не удивляйся, я очень много узнала за эти пять лет. Я окончила-таки факультет философии, долго жила одна на окраине города. Я захотела *стать* тобой, раз уж *быть* с тобой не получается.

Он глядел на неё, и в его взгляде была удивленная немота. Он проникал под кожу, он вырывал ей ногти своим взглядом. Взглядом он целовал грудь этой женщины и резал её горло тупым ножом, чтобы причинить как можно больше боли. Она увидела в его глазах вождление и ненависть. Она поглядела на свои пальцы. Они дрожали.

— А я-то ещё ждал тебя! Всё, что ты говоришь, такая же чушь, как и раньше. Пять лет философии не сделали тебя умнее. Теперь ты будешь прикрывать ею свою глупость, своё тело, всё, что в тебе есть человеческого. Я знаю, ты ушла, потому что не могла не желать жить, а я всегда тащил тебя за собой.

— Я прожила твою жизнь, — спокойно продолжила она. — Ты бросил университет ещё до того, как мы впервые встретились. Помнишь, в день нашего знакомства, ты сказал, что хотел бы преподавать философию первокурсникам, чтобы заставить их думать о Ницше, а не о сексе, о Канте, а не о деньгах, о Шопенгауэре, а не о том, где бы купить пива подешевле. Я тогда не поняла тебя и сказала, что твои мечты не стоят ломаного гроша. А ты ведь не перестал мечтать об этом, не правда ли? Ты хотел жить в квартире с видом на лес, хотел, чтобы рыжая собака грела тебе ноги, лежа возле кресла по вечерам? Даже хотел, чтобы она пускала слюни, положив голову тебе на колени...

Она продолжала говорить, постепенно повышая голос.

— Месяц назад я прочитала свою первую лекцию по иррационализму... Знаешь, студенты меня слушали, я думала, что они не станут записывать, будут болтать и перебрасываться записками, ну, знаешь, как в школе, а они слушали, меня слушали. Я живу неподалёку от леса...

Жанна сбивалась, переводила дыхание, торопилась.

— На последнем этаже новой кирпичной высотки, той, что на самом краю, понимаешь, той самой, с большими не застеклёнными балконами, я даже завела собаку, нет, не смейся... — он и не думал смеяться, — я просто хотела, чтобы мне было не так одиноко, но я привыкла и довольно быстро, и я быстро полюбила эту собаку, как могла бы, кажется, любить своего ребёнка, если бы он у меня был... — она смотрела на него с ненавистью, — я купила и прочитала полное собрание сочинений Набокова, когда ты читал его последний раз, вот скажи, когда... — он услышал в её голосе злорадство.

— Пять лет назад.

— В тот вечер — ты ведь понимаешь, о чём я? — Он кивнул. — Своим поступком, одним только намерением убить себя, ты сломал хребет моей жизни, я верила в тебя, для меня не существовало иного бога. Теперь я больше не верю. Твоя собственная жизнь оказалась тебе не под силу. Я прожила её — за тебя, понимаешь? Я полгода готовилась пересдавать экзамены — помнишь, мы завалили их вместе? — Нет, Жанна больше не хотела его спасать. На этот раз в её доброй улыбке было так много снисхождения и жалости, что он не смог убедить себя в том, что ему показалось. Он чувствовал хруст своих рёбер под её ногами.

— Какая же ты сука.

— Как же ты жалок.

Он готов был выстрелить в неё, но не смог. Он вдруг почувствовал себя очень уставшим. Выпотрошенной, но всё ещё отчего-то живой рыбой в кастрюле Жанны, рыбой, погибающей в своей собственной стихии по мере того, как вода достигает точки кипения. Он тихо ушёл, не сказав больше ни слова, повесив на плечо ружье. Когда он скрылся за

деревьями, Жанна спустилась и, упав на песок у подножия здания, долго плакала, обхватив руками плечи, разодрав ногтями кожу, не замечая пчёл, летящих в лицо, ползущих по голым ногам, жалящих бока и спину. «Его не существовало, его никогда не существовало, нет, не существовало» — повторяла она и чувствовала солёный привкус искусанных до крови губ.

* * *

На следующий день он покончил с собой, выстрелив себе в грудь. Жанна больше никогда не посещала свой замок из слоновой кости. Несколько месяцев спустя заброшенное здание снесли.

Похороны

В запертом сейфе много лет лежало ружье, как пуля, по прихотливому произволу обстоятельств застывшая в миллиметре от цели. Жанна помнила это ружьё радужной оболочкой жёлтых глаз, тонкой кожей полупрозрачных ладоней — помнила вплоть до еле заметной трещинки возле затвора, вплоть до отпечатка обветренных пальцев мужа на рукоятке. Жанна каждый день вытирала пыль со стального ящика, намертво прикрученного к полу.

С тех пор, как умер её любимый пёс Джек, прошла целая вечность, так ей казалось, в то время как миновало всего несколько часов. Делом её жизни последних лет было ходить в магазин, чтобы купить ему мяса, дважды в день выгуливать его в лесу неподалеку от дома, мыть ему лапы в тазике под порогом и засыпать, почесав его за ухом и услышав в ответ довольное, почти кошачье урчание. Любимый пёс Джек умер посреди жаркого и сухого лета от отёка легких — так сказали ветеринары, сочувственно скользнув взглядом по квартире, наполненной ненужными и, казалось, чужими вещами. Отглаженный мужской костюм, три новенькие зубные щетки в стаканчике на подоконнике, шерстяная шаль, обвязанная праздничной лентой. «Отёк легких», — поджав губы, сказал врач и ушел вместе со своим молчаливым помощником, оставив после себя облако никотинового дыма в прогорклом воздухе подъезда.

Быть может, всё прояснилось именно с того самого утра — замерло, как геометрическая прогрессия, исчерпавшая множители, — когда она проснулась и увидела тело своей седой дворняги, недвижно и нежно покоящейся на коврик у кровати, как пласт необработанного мрамора. Впрочем, всё продолжало идти своим чередом — обманчивая даль вогнутых линз. Жанна не знала, сколько времени прошло с тех пор: она давно не меняла батарейки в жадных до боли часах, с хрустом пережевывавших время, а часы всегда показывали полдень. В тот день тоже было около полудня, когда он, вспотевший, но гладко выбритый, пахнувший кожей, запятнанный запахом окружавшей его толпы, уходил, уходил...

* * *

«Джек», — тихо позвала она и, спустив худую пергаментную руку с кровати, провела пальцами по собачьей морде. Она оказалась холодной, даже шерсть была как намёрзший на ветвях дерева иней. Пальцы Жанны были ещё холодней. Она сразу поняла, что Джек мертв, и молча откинулась на подушку, пытаясь охватить мгновенным, уже привычным ощущением собственное одиночество. Как будто вместо крови по венам бежит колючая проволока. Ей показалось, что на стене тикают часы.

Она положила собаку в мешок для мусора, прежде завернув в изумрудное пуховое одеяло со своей кровати. Джек показался ей похожим на замерзшую бабочку в хрустальном коконе. Она немного посидела на полу возле пса, укрывшись слезами как чёрной вуалью. Слезы нахлынули. Ничего не осталось, только похоронить Джека. Жизнь, задущенная траурной лентой. Она пошла искать лопату в кладовке, думая о том, что для неё самой копать могилу будет некому. Что ж. Нет ничего бессмысленней страдания собаки. Она нашла лопату. Пусть лучше так.

Мужа ей похоронить не пришлось. Он пропал на войне. Она была даже несколько обрадована, осознав смысл этих коротких строк «пропал без вести». Ну, надо же. Она была даже несколько рада ухватиться за эту крохотную надежду, чтобы придать своей жизни смысл — вечное ожидание, что он когда-нибудь вернется, что он по-прежнему (спасительная посредственность) любит её, что он найдёт её, появится вновь. Минута дивного сна, заменившая собой все прочие минуты. Нет, он не умер, не умер, не умер. Просто исчез, затерялся где-то в те тяжкие годы, и больше она никогда ничего о нём не слышала.

Так пусть же всё — умрет. Она никогда не открывала дверей, когда к ней приходили друзья. Раньше, прежде, тысячу лет назад. Не теперь.

* * *

С каждым днём он становился всё мертвее, всё холоднее, как труп всеми покинутого утонувшего рыбака, крепко вмёрзший в лёд. Его образ становился всё более похожим на фотографию в их единственном альбоме, но всё же он никак не мог умереть окончательно, воспоминания плавили смерть, как воск. Её мозг не позволял ему смерти, он застыл в её памяти, как муравей в капле янтаря, как личинка мухи под микроскопом. «Живи, живи, — молча взывала Жанна одним взглядом, обращая к пустоте большие рыбы глаза и мысленно замыкая небольшой круг воспоминаний о былой с ним жизни, — пожалуйста, живи». И его образ кланялся единственному зрителю на шатких и податливых подмостках памяти.

Жанна всегда помнила о том, что с ним она чувствовала себя живой — только с ним и больше никогда она ощущала своё тело, наслаждаясь идеальной пропорцией всех этих хрящей, костей, мышц, крови, суставов. С ним она ощущала, как по венам бежит душа. Реки крови, циркулирующие внутри её хрупкого организма, казались ей исполненными смысла и направления. Его присутствие было как музыка, от которой порой оживают ветхие дома, как заботливая рука хозяина, регулярно вытирающего пыль на полках с книгами. Без него она чувствовала себя мертвой — и ненавидела себя за это. Для того, чтобы жить, ей всегда нужен был *другой человек*.

«Жена декабриста» — так он её назвал, когда она сказала, что выстрелит себе в грудь из охотничьего ружья, как только узнает о его смерти. «Жена декабриста», — повторил он и запер ружье на ключ в железный ящик, и увез тот ключ с собой, повесив себе на шею, и пропал без вести, заставив жить ожиданием. Он был безжалостен и бескорыстен в своём эгоизме. Ружье до сих пор заперто на ключ. Он был безжалостен и властен, император её жизни, сожженных городов, где они могли бы побывать. Счастливая пара в медовый месяц. Он покинул её, чтобы умереть на войне, но Жанна никогда не верила в это. Да и никто — никто не верил.

Однажды он приснился ей — чуткий, предрассветный кошмар. Снилось, что в дверь постучали и, открыв, она увидела на пороге его с багряно-черной раной в груди. Она закричала, но не проснулась, а он улыбнулся и сделал шаг ей навстречу. Он рассказал, что эта рана всегда была в его груди, что он должен был умереть, и это было так же легко, как Жанна засыпает, намного легче, чем каждый её шаг, который уже теперь дается с трудом, хотя ей нет и шестидесяти. Он знал, война не лучший способ самоубийства, но всё же...

Он ещё долго говорил, объясняя свою смерть, подтверждая её невысказанные догадки, но она не верила ему даже во сне. Прочь отсюда, прочь — слабый жест обессиленных временем рук. Этот голос не покинул её даже тогда, когда она проснулась и, по обыкновению, пошла выгуливать Джека, когда пошла в магазин, когда купила тёмную шаль из кашемира. С тех самых пор этот голос не покидал её ни на день. Она любила его, хотя отдавала себе отчет в том, что это только плод её воображения. Она была бы вполне разумным человеком, если бы не...

* * *

Жанна завела себе собаку, когда умерла её сестра. Последние десять лет, что они прожили вместе, сестра была вечно не в себе, всё толковала об идеях Шопенгауэра — единственного философа, которого ей довелось прочитать по совету любимого мужчины,

впрочем, не до конца, впрочем, их роман был слишком коротким, а она никогда не любила читать. Жанна прочитала Шопенгауэра, чтобы разубедить сестру, но не смогла доказать, что он не прав, даже самой себе. Когда-то давно она плакала, проклиная себя за эту попытку. Не теперь.

Жанна помнит их последний разумный разговор. Тогда сестра сказала: «Знаешь, я ведь не этого хотела, я ведь всегда мечтала о жизни, о любви, как у всех женщин. Чтобы были дети и домашние праздники. Чтобы готовить ему завтраки и обеды, чтобы жить где-нибудь в провинции у моря». В ответ Жанна взглянула в окно и стала слушать своё дыхание. В этот момент все силы Жанны были сосредоточены на том, чтобы не принимать в себя жизнь, не позволять этим бесам — желанию, надежде, возможности — заслонить собой едва обретенный покой — тихую гавань, где солнечную гладь воды украшали мёртвые рыбы с серебристыми боками. В жизни её сестры не случилось домашних радостей. Её мужчина ушёл, едва прожив с ней год или полтора. Сказав на прощание, что с этого дня начинает новую жизнь, он вернулся к покинутой им жене.

* * *

«Ну вот, теперь мы с тобой снова вместе», — с такими словами Жанна много лет назад открыла двери для сестры, когда той некуда было идти, и они зажили вместе, как будто навсегда осознав, что жизнь не приготовила для них ничего нового. Она попросту прошла. Всё пережито, и это одиночество — изначально, неизбежно, не ново. Его чувствует каждый. Так они распрощались с молодостью, едва им минуло за тридцать. Они были близнецами, только морщины на лице Жанны напоминали шрамы. Старость была ей не к лицу.

Впрочем, жизнь продолжалась. Порой Жанна плакала и хваталась за ящик с ружьем, но дверца не поддавалась. Слабые руки сплетались в хаос, как щупальца осьминога. Тогда она бросалась на покрывало кровати и долго лежала без движения, закрыв лицо руками, уподобившись труп, в котором ещё (по ошибке разве что) работает дыхательный аппарат. «Нельзя бросать сестру», — думала она и, встав с кровати, продолжала жить, каждый раз словно возрождаясь из пепла. После смерти сестры она поняла, что бросили её.

Сестра покончила с собой, выпрыгнув из окна, и Жанна, бесстрастная Жанна, стояла возле её могилы с опущенной головой, с напряженными от невыплаканных слёз глазами, зная, что эта смерть в сущности ничего не значит. Любая смерть. Все просто умерли, исчезли, предали её забвению, но сами забыты не были. Каждый день она просыпалась одна и чувствовала, как холодны простыни под её зыбким телом. Каждый день она проживала заново смерть каждого, кто когда-то был рядом с ней.

Вот выносят из дома мамин гроб, как-то по-деревенски просто сколоченный из березы. Вокруг стоят люди, одетые как попало. На улице слякоть. Хлюпают грязь в резиновых сапогах. Похоронная процессия напоминает ей сбившихся в зловонное стадо бомжей, неизлечимых алкоголиков, которые идут за гробом с трясущимися руками, бородавками под носом, спадающими штанами, которые привязаны к телу верёвками. Она глядит на свои руки, замечает под ногтями грязь, слёзы падают на ладони, как холостые пули. Она понимает, что всё это ей только кажется, всё это дефект зрения, обманутого смертью, агония изнуренных болью зрачков. Руки дрожат от холода, от боли, от слабости перед произошедшим. У неё, только у неё здесь дрожат руки. Крышка гроба закрыта.

Вот бездыханная сестра, распростертая внизу, как распятый на земле Иисус. Машина «Скорой помощи», руки в стерильных перчатках. Липкая лужица крови, смешанной с песком. Грязь на белой сорочке. Ссадина на руке. Куда поставить гроб?

* * *

Встретить кого-нибудь другого — такого же всеми покинутого одинокого старика с каким-нибудь долгим шрамом поперек горла, добрую подругу с седым пучком волос на голове и с вечными капельками слёз в уголках глаз — всё это казалось ей невысказанным. Слишком много десятилетий в её жизни не случилось новых людей, чтобы теперь

впустить их и встретить с распростертыми объятиями худых, покрытых морщинами рук. Голос любимого мужчины звучал в её голове, идеально копируя давнюю реальность.

Путь до леса казался ей бесконечным. Она тащила мешок с мёртвой собакой по земле, не в силах его поднять. Сзади тянулась широкая борозда, как след от гигантской улитки. Дойдя до опушки, Жанна села на землю, чтобы отдохнуть. Потом взялась за лопату слабыми руками и начала копать могилу, изо всех сил преодолевая одышку.

* * *

В запертом сейфе много лет лежало ружье, как пожизненный атрибут бессилия Жанны — бомба, которая никогда не взорвется. Оно пролежит в сейфе ещё столько же лет, и даже больше. Оно будет свидетелем смерти Жанны. Жанна умрет несколько лет спустя, когда в доме случится пожар.

Она проснется, почуяв запах дыма, и когда пламя коснется её кожи, не почувствует боли и не убежит прочь. Это будет её первый подвиг, о котором никто никогда не узнает.

Она в последний раз вдохнет в легкие воздух и улыбнется, презрев этой улыбкой всю минувшую жизнь, которая была ничем иным, как непрерывной агонией ожидания. Что может быть бессмысленней, подумает она, никого не спасти, не повести за собой ни одно войско, не одержать ни одной победы, но всю жизнь, всю жизнь гореть на костре. Но что может быть прекрасней чистого абсурда?

* * *

Жанна пригладила рукой землю на могиле Джека и посмотрела вверх, на сосновые ветви. Дятел стучал клювом по сухому стволу. Она знала, что будет приходить сюда каждый день. Она будет выходить на прогулку с мыслью о Джеке, завтракать с этой мыслью и с той же мыслью ходить в магазин, чтобы купить мяса любимому псу.

Могла же она все эти годы покупать мужу новую зубную щетку, когда старая приходила в негодность, покрывшись пылью. Ходить в кино с мыслью о нём, покупая всегда два билета, и засыпая на первом ряду, только прикрыв усталые глаза. Засыпать с мыслью о том, как он гладит её по голове, просыпаться, чтобы поставить кофе, без которого он не мог начать день, и готовить на завтрак рис с индейкой, которую она всю жизнь ненавидела. Могла же она, приходя в магазин, присматривать маме платье или покупать ей в подарок дорогую шаль из кашемира, открывать на ночь форточку в комнате сестры. Могла же она продолжать жить *вместе с ними*, похоронив их всех много лет назад. Могла же она делать всё это, вместо того, чтобы просто найти способ, чтобы открыть сейф с ружьем.

Жанне вдруг показалось, что её жизнь упорядочена, как никогда раньше. Словно все тайны этого мира в одно мгновение оказались постигнуты без усилия мысли. Она знала, что ружье никогда не выстрелит, знала, что будет приходить сюда каждый день, знала, что всегда будет готовить на завтрак ненавистную индейку. А потом, кто знает, может быть, ей выпадет счастье в один прекрасный день умереть во сне.

Жанна отряхнула подол домашнего халата от земли и пошла домой готовить запоздалый завтрак.